

СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ

I

Георгий Дмитриевич Волкович был человек, которого, можно вполне сказать, все любили.

Это был директор нашего музыкального училища, композитор и дирижер, с отличием кончивший когда-то консерваторию и теперь вот уже двадцать пять лет преподававший музыку, а последние пять лет, кроме того, и состоявший директором музыкального училища в нашем городе.

Ему было сорок восемь лет, и человек он был симпатичный. Это был какой-то веселый чудак, до крайности экспансивный и до смерти любивший свое искусство.

Многие его считали беспутным и, пожалуй, были правы. Мы, ученики его училища, постоянно имели случай наблюдать его странности, но все это было так мило и непосредственно, так шутивно и талантливо, что никто и не думал как-нибудь ему в этом препятствовать.

Нередко бывали такого рода случаи, что среди рабочего дня, когда в классах сидели преподаватели и вели свои занятия, вдруг объявлялся симфонический ансамбль, и все инструменталисты высших курсов должны были прекращать занятия, идти в зал, и всем раздавалась какая-нибудь партитура, которую и начинали разучивать под руководством внезапно появившегося Георгия Дмитриевича.

Все знали, что сейчас директор, стало быть, в ударе, а когда начинали играть, то уже воочию убеждались, что Георгию Дмитриевичу пришла какая-то идея, которую ему во что бы то ни стало нужно сейчас же воплотить в звуках. Да и по одному названию раздаваемой пьесы уже заранее можно было предвидеть, как настроен директор и чего он хочет.

Часто “идея” владела им почти в физическом смысле. Тогда он появлялся с не завязанным галстуком или даже совсем без него, с растрепанными волосами и блуждающими глазами, так что по рукам учеников ходило немало карикатур на директора, в которых, впрочем, было гораздо больше правды, чем лжи, потому что в эти минуты он действительно становился какой-то карикатурой.

Один раз на него нахлынула (иначе и сказать нельзя) Седьмая симфония Бетховена. Бетховена он, впрочем, страстно любил, и нахлынуть из него могло что угодно.

Георгий Дмитриевич явился в зал, где собрались ученики и настраивали свои инструменты, без галстука, хотя в жилете и сюртуке. Его добрые и мечтательные глазки горели юношеским огнем, как у молодого человека перед назначенным свиданием. Он был бледноват, как будто бы не спал ночь (было около двух часов дня) и как будто что-то и кому-то хотел доказать.

Ученики, придя в зал и увидев на пюпитрах Седьмую симфонию Бетховена, отнеслись к этому по-разному.

— Эка! На свете, что ли, тошно жить директору?

— Что ты? Помилуй! Да ведь тут в четвертой части гопад!

— Ну и сказанул! Хорош гопад! Это такой гопад, что небу жарко становится.

— Ну, и разнимает же его. Да ведь тут часа три попотеть придется.

— А интересно, зачем ему Седьмая симфония далась! Неспроста же!

В этих словах учеников, недоумевавших по поводу Седьмой симфонии, была одна правда: Волкович недаром вдруг захотел играть Седьмую симфонию; какая-то “причина” должна была это заставить.

Георгий Дмитриевич, ставши за дирижерский пульт, не сразу начал дирижировать, но обратился с целой речью:

Господа! Необходимо внимание, самое глубокое внимание! Имейте в виду, что основа всей Седьмой симфонии это — вторая часть. Когда будете исполнять, все время помните о второй части! Слышите? Вторая часть это — вечная и неизбежная скорбь, лежащая в глубинах всего бытия. Люди обычно думают, что радость и горе есть только наша жизнь, что это — только поверхность жизни, а о глубинах ее и не задумываются. Но есть тоска и в самой последней глубине бытия, это неразрешенное и вечное томление духа, эта ноющая и тягуче-однообразная вечность, надрывная и серо-монотонная, как морской отбой и прибой. Тут нет внезапного крика о боли и нет неожиданного вопля о страдании. Нет, это крик, который никогда не прекращается и потому уже теряет значение крика, и вопль, который рассасывается на всю вечность и уже делается ее нормой. Это — стонущая, ноющая, однообразно бьющаяся вечность. Так и играйте! Как будто бы вечно говорится что-то одно и то же, и уже всё надоело, всё долбит только в одну точку, всё мозжит и творит скуку, вечную, мировую, вселенскую скуку. Первая часть только подготавливает вторую, а вторая — центр всей симфонии! Радость и веселое прыганье третьей части — не забудьте! — трижды здесь прерывается так, что вы чувствуете себя, среди праздника и танца, вдруг как бы перед бездной и уже не можете сдвинуться с места, становитесь как бы в тупик, и пытаетесь заглянуть в эту темную пучину, но у вас кружится голова и вы поворачиваете назад, чтобы отдаться прежнему веселью. Не забудьте: это — надрывное и тяжелое веселье! В четвертой части Бетховен хочет вовлечь в свой танец и эти черные пучины бытия. И он это делает, но как? Разве можно забыть вторую часть? Нет, ее нельзя забыть! Он вовлек в свою радость скорбную пучину мира только эстетически. Он оправдал бытие только лишь как эстетический феномен! Вот что! А почему? Потому что нельзя забыть ноющей вечности второй части. Это веселье отдается в глубине души каким-то тоскливым всхлипыванием.

< Здесь рукопись обрывается >